

**Аполлон Александрович
Григорьев**

Человек будущего

**Москва
Книга по Требованию**

УДК 82-3
ББК 84

Аполлон Александрович Григорьев

Человек будущего / Аполлон Александрович Григорьев – М.: Книга по Требованию, 2011. – 46 с.

ISBN 978-5-458-04214-7

«Человек будущего» – первая часть своеобразной трилогии о Виталине, ... Один человек не имел определенной цели и шел по Невскому для того, чтобы идти по Невскому... Двинулся – сказал я, – потому что в самом деле было что-то произвольное в походке этого человека; без сознания и цели он шел, казалось повинясь какой-то внешней силе, сторбясь, как бы под тяжестью, медленно, как поденщик, который идет на работу...

ISBN 978-5-458-04214-7

© Издание на русском языке, оформление, «YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «Книга по Требованию», 2011

Аполлон Григорьев
Человек будущего
Рассказ без начала и без
конца, а в особенности
без «морали»

Посвящается А. А. Фету

I. Встреча

Был полдень. На Невском еще не мелькали обычные группы и лица. Все, что шло по нему, шло с особенною целию, и эта ли цель или довольно сильный мороз сообщали особенную скорость походке пешеходцев.

Один только человек не имел в это время определенной цели и шел по Невскому для того, чтобы идти по Невскому. Он вышел из кондитерской Излера,¹ довольно медленно сошел по ступеням чугунной лестницы, поднял бровь воротник своего коричневого пальто, вероятно почувствовавши холод, надвинул почти на глаза шапку с меховою опушкою и, заложив руки в карманы, двинулся по направлению к Полицейскому мосту.²

Двинулся – сказал я, – потому что в самом деле было что-то непроизвольное в походке этого человека; без сознания и цели он шел, казалось повинувшись какой-то внешней силе, сгорбясь, как бы под тяжестью, медленно, как поденщик, который идет на работу. Он был страшно худ и бледен, и его впалые черные глаза, которые одни почти видны были из-под шапки, только сверкали, а не глядели. Изредка, впрочем, останавливался он перед окнами магазинов, в которых выставлены были эстампы, и стоял тогда на одном месте долго, как человек, которому торопиться вовсе некуда, которому все равно, стоять или идти. Но и глядя на эстампы, он, казалось, не глядел на них, потому что на лице его не отражалось ни малейшей степени участия или интереса.

Во время одной из таких остановок двери магазина, перед окнами которого он стоял, отворились, и из них выпорхнула женщина, которое появление заставило бы всякого, кроме его, выйти из апатии. Черты лица ее были так тонки, цвет кожи так прозрачен, походка так воздушно-легка, что она могла бы показаться скорее светлою тенью, тончайшим паром, чем существом из плоти и костей, если бы яркие, необыкновенно яркие голубые глаза не глядели так быстро и живо, что в состоянии были бы, взглянувши на человека, заставить его потупиться. Она была одета легко и даже слишком легко, потому что все, что было на ней мехового, могло ее украшать, но уже вовсе не греть. Лицо ее было одно из тех немногих у нас лиц, которые, промелькнувши перед вами даже профилем, не выйдут из вашей памяти, потому что, кто бы вы ни были – старик, муж или юноша, они, эти лица, сольются для вас с первыми грезами детства, с первыми снами жизни; одно из тех лиц, на которых странно-гармонически

сливаются и чистота младенческой молитвы, и первые грешные мечты, поднимающие грудь женщины, и детски-простая улыбка ангелов Рафаэля, и выражение лукаво-женского кокетства.

Она выпорхнула из магазина, как птичка, беззаботно и весело, как ребенок, которому купили игрушку, – но это движение в одну минуту и без резкого перехода сменилось у нее выражением до того строгим и холодным, что ее нельзя было узнать. Мига этой перемены вы бы не уловили. Вы могли сказать только, что перед вами выпорхнула птичка и что перед вами же стояла на ступенях лестницы прекрасная, но строгая фигура женщины, с ресницами, опущенными не от скромности, но от холодности, с нетерпеливым выражением на бледных и тонких устах, вероятно потому, что человек, который шел за нею с лестницы магазина и нес разные пачки, был слишком тяжел, чтобы следовать за ней шаг за шагом.

– Боже мой – наконец! – сказала она почти с досадою.

– Сию минуту, сударыня, – отвечал лакей. – Эй ты, подавай, – закричал он во все горло почти над ухом красавицы.

Она вздрогнула.

Извозничий возок медленно стал поворачивать.

В это время она рассеянно взглянула направо.

Чужак еще стоял перед окнами, по-прежнему сунувши руки в карманы.

При первом взгляде на него в глазах ее выразилось то смутное, неопределенное чувство, которое овладевает нами, когда мы припоминаем себе что-нибудь; но чувство это пробежало на ней мгновенно, как молния. В полсекунды она уже была подле него.

– Виталин! – вскричала она.

Он вздрогнул и, узнавши ее в ту же, казалось, минуту, хотел сказать ей что-то.

– Виталин, – повторила она с детскою радостью и, не давши ему выговорить, завладела его левою рукою и повлекла за собою к карете.

Он не противился, но дружески пожал эту поданную ему маленькую и бледную руку; больше еще, его неподвижность исчезла, он очень ловко помог ей впорхнуть в карету, влез за нею и захлопнул дверцы.

– Домой, – закричала она из окна. Карета поехала.

– Давно ли ты здесь? – спросил Виталин, садясь подле нее и нисколько, казалось, не изумленный неожиданною встреченою.

– Почти год, – отвечала она, – и почти столько же ищу тебя по всему Петербургу. Я знала, что ты здесь, – но где, это было мне

неизвестно, как всем. Ты бог знает что делаешь, – прибавила она, взглянув на него грустно. – Ты забыл всех, всех...

– Ну, многие, конечно, меня в этом предупредили, – возразил Виталин. – Да и скажи на милость, к кому я там стану писать?... К тебе... но, кстати, муж твой здесь?

– Он умер, – сказала она, стараясь придать тону этого ответа прилично-печальный оттенок.

– Без церемоний, пожалуйста... Это самое умное дело, какое он сделал в свою жизнь. Он надоел тебе страшно?

Она молчала, потупив глаза.

– Он был удивительно глуп, не правда ли? – продолжал Виталин все так же спокойно, как будто говорил о живом и совершенно постороннем человеке.

Она кусала губы, чтобы не расхохотаться.

– Но оставим его... Зачем ты здесь?

– Зачем ты-то здесь, и целые годы? – отвечала она и, привязавшись к этим словам, захохотала, как ребенок.

– Зачем?... Вероятно, затем, что здесь незаметнее ничего не делать, пьянствовать и проч. Кстати, легенды обо мне разрослись, я думаю, в целую поэму? Как там, по преданиям, я пью?... Верно, мертвую чашу? А играю, а? Наверную?

Говоря это, Виталин нервически смеялся.

Ее голубые глаза потемнели от слез, она хватала обеими руками его худелые и маленькие пальцы.

– Бедный, – прошептала она, – ты все еще не позабыл ничего прежнего?

Он был тронут ее участием и, схвативши одну из ее рук, поднес к губам.

– Зачем ты здесь? – повторил он тихо и нежно, смотря на нее глубоко грустно.

– Это ты узнаешь нынче же, – отвечала она как-то робко и принужденно.

– Отчего не теперь?

– Не все ли равно тебе?

– Ты знаешь, как я не люблю откладывать того, что можно узнать сию секунду, на целый день.

– Впрочем, – сказала она, принужденно-весело, – что же такое нынче или завтра? Итак, мой добрый друг, не удивляйся, не брани меня... я – актриса.

И сказавши это с усилием, она опустила ресницы.

– Ты актриса? – почти вскричал Виталин с радостным изумле-

нием.

Тон его ответа произвел на нее какое-то странное действие; она вся оживилась, ее щеки вспыхнули румянцем, и она бросилась к нему на грудь.

– Ты не упрекаешь меня? – спросила она с радостью ребенка, который ждал упрека и услышал слово любви.

– Я – упрекать тебя, моя сестра, мой друг, мое дитя, – говорил Виталин, целуя ее белокурые локоны. – Я упрекать тебя? Да ты с ума сошла?... Я, который мечтал видеть тебя Офелией Шекспира, тебя, живое повторение Офелии... И мои мечты сбылись? Знаешь ли, что это, может быть, в первый раз мои мечты сбылись?... Дитя, дитя, ужели ты думаешь, что я сам не был бы актером, если бы не мешали мне проклятая грудь и расстроенные нервы?

– Сумасшедший, – сказала она с улыбкою, поправляя локон, – ты все тот же сумасшедший, все тот же (продолжала она шепотом), который своим безумным учением чуть не... – она не договорила.

– А что?... ты забыла его?... – спросил Виталин полшутя, полгрустно.

– Забывается все, хотя грустно и горько, – отвечала она, задумчиво и склонив голову.

– А я тогда любил тебя, любил сильнее, чем он, хотя не так порывисто.

– И говорил все о нем и умолял за него?

– Ты его любила?

– Да, и его и тебя, почти равно.

Виталин задумчиво взглянул на нее и потом прошептал почти про себя: «Быть может, его я любил тогда больше, чем тебя, больше, чем себя. Но что прошло, прошло, – продолжал он громко, – давно ли?...».

Карета остановилась перед одним из домов Малой Морской. Начатая речь осталась без окончания. Лакей отворил дверцы, спустил подножку... красавица выпорхнула и была уже на лестнице, когда Виталин только что вышел из кареты.

– За мною, – сказала она ему. – Иван, отпусти карету и вели приезжать завтра.

Виталин последовал за нею и остановился только, когда она дернула за звонок отделанной под карельскую березу двери, в третьем этаже.

Им отперла старушка в трауре и белом чепце и с удивлением взглянула на гостя.

– Анна Игнатьевна, Анна Игнатьевна, – вскричала она, – поско-

рее кофе, я иззябла, – и вслед за этим бросила на стоявший в передней комнате маленький комод свой роскошный салоп и побежала далее. Виталин за нею.

Анна Игнатъевна покачала ей вслед голову, свернула бережно салоп, повесила на крючок пальто гостя и ушла в боковую дверь.

Квартира нашей артистки была просто чиста и опрятна, но вкус женщины в размещении всего, какой-то стройный беспорядок сделали из нее изящную квартиру. Она состояла из четырех комнат: передней, кухни, в которую ушла Анна Игнатъевна, приемной, где стоял в углу тишнеровский рояль и как-то комфортабельно была расставлена немногочисленная мебель, и спальни, заменявшей и уборную.

Виталин сел на диван, стоявший у стены. Хозяйка скидала с себя перед трюмо в спальне шляпку и боа...

Перед диваном стоял рабочий столик и на нем лежала рукопись. При первом взгляде на эту рукопись по бледным губам Виталина пробежала ироническая улыбка.

– Послушай, какая у меня роль теперь будет! – сказала она, входя в приемную в одном уже платье, которое выказывало всю стройность ее стана.

– Что же? – отвечал он, перевертывая страницы рукописи. – Роль в самом деле недурна.

– Недурна?... Но ты не знаешь этой драмы!

– Я? – Он захохотал самым искренним смехом... – Помилуй, когда она моя и когда она мне вот где села, – прибавил он, показывая на шею, – благодаря... – он не договорил.

– И это твоя драма? – спросила она с каким-то детским восторгом и сложивши руки.

– Моя, точно так же, как это шитье твое, – отвечал он взявши какую-то бисерную работу.

– Ах, не трогай, пожалуйста, ты мне все перепутаешь... Послушай же, – продолжала она, садясь подле него и положивши на его плечо руку, – тебя ждет слава, Арсений, слышал ли?... тебя ждет слава, тебя ждут рукоплескания...

– Отдаю их тебе, если они будут. Ты думаешь, нужна мне твоя слава, ребенок, – отвечал он, играя ее локонами.

– Слава, рукоплескания! – возразила ему она с неистовым восторгом. – О нет, ты лжешь на себя, ты любишь славу, ты должен любить славу – ты гений.

– Гений! Наталья, Наталья, ты, верно, уж давно привыкла к этому слову. Но что мне за дело, – продолжал он с печальною

улыбкою, – гений я или нет. Думаешь ли ты, что этого названия, что уверенности в этом названии станет добиваться человек, который много жил, чтобы думать о самом себе. О нет, – продолжал он, приподнявшись и пройдя два раза по комнате, – о нет, я не хочу твоей славы, я не хочу названия гения – и вовсе не из отвратительно-ложной скромности: нет, я вовсе не скромен, я знаю себе цену. Это, – сказал он, остановись перед нею и тоном совершенно холодным, взявши свою рукопись, – это – гадость страшная, гадость, от которой мне придется краснеть, но от того-то, что я краснею за нее, находят на меня минуты сатанинской гордости, сознание огромной силы в себе самом... И между тем, сознавая эту силу, клянусь тебе моею совестью, – я не хочу названия гения, я не хочу славы.

– Чего же ты хочешь? – спросила она, смотря на него с изумлением.

– Вот видишь ли, – начал он... – Так многое я ненавижу фанатической ненавистью, так много я люблю безумною любовью. Так много есть такого, что хотел бы я пригвоздить к позорному столбу, с чем я обрек себя бороться до истощения сил, потому что от ложного уважения к этому страдаю я сам по-пустому многие, долгие годы, и верно страдает много безумцев, и нужно мне очень, чтобы меня наградили за это славою или позором? Только бы поняли, только бы один из страдающих братьев нашел в моих созданиях оправдание самого себя, своей борьбы, своих страданий...

Она глядела на него грустно, как глядят на сумасшедшего.

– Мои слова странны, не правда ли, – продолжал он с печальною улыбкою, – но этим словам, дитя мое, я продал всю жизнь, но все то, за что считали меня безумным, было служение этим словам, этим верованиям... Было время, когда и я встретил бы подобные слова в устах другого недоверием и иронией. Тогда я был счастлив, тогда я был молод, тогда я видел только себя в божьем мире и не верил, чтобы кому-нибудь, было какое-нибудь дело до других. Но я кончил жить для себя, кончил с тех пор, конечно, когда уже у меня не осталось ничего, чем бы я мог жить для себя!.. И с этих пор я живу одною ненавистью к прошедшему, одною любовью к будущему.

Глаза Виталина блистали фосфорическим блеском, на щеках его выступил болезненный румянец.

– Пророк, пророк, – вскричала Наталья, снова складывая руки.

– Да, пророк, если ты хочешь, только, бога ради, не гений, – отвечал он, садясь подле нее и проведши рукою по лбу. – Но оставим это... когда идет моя драма?

– В среду после Нового года.

- Я должен еще говорить с тобою о твоей роли.
- Хорошо... Но послушай, ты нынче у меня весь день?
- Пожалуй, когда это можно.
- Отчего же нельзя?
- Qu'en dira-t-on?³
- Боже мой! из-за «qu'en dira-t-on» мы не виделись пять лет, – отвечала Наталья, – теперь я свободна, теперь я артистка, – прибавила она с чувством гордой самоуверенности, – и он опять с своим «qu'en dira-t-on».
- А кто тебе дал право пренебрегать мнением общества именно потому только, что ты артистка?
- Право? я взяла его сама, я не ужилась с обществом и отвергла его.
- Виталин не мог удержаться от улыбки, потому что, хотя и верил в женщину вообще, но в каждой из них, взятой порознь, имел привычку уверяться только после долгих наблюдений.

II. Представление

В один вечер, не помню именно когда, но знаю, что это было незадолго до рождества, площадь Александрийского театра была исполнена особенного движения. Лихие извозчики и измученные ваньки беспрестанно подвозили к колоннам театра новых посетителей; по временам даже подъезжали кареты или, за недостатком их, патриархальные возки, из которых вылезало обыкновенно штук по шести женского пола и штуки по две мужского; как они там помещались, это уж загадка необъяснимая.

Ясно, что в Александрийском давалась новая пьеса, и с достоверностью полагать можно, что афиша оной пьесы была не менее как в два аршина длиною. Сени театра наполнялись все более и более новыми приплывающими толпами народа, чрезвычайно пестрыми и разнообразными! Чего и кого тут не было! Здесь наблюдатель мог бы в минуту, с помощью расписания мундирам, научиться узнавать безошибочно все вышивки, погончики, петлички⁴ офицеров разных полков и так же безошибочно уметь по цвету воротников относить чиновников к известным ведомствам.

Давалась, в самом деле, новая пьеса, только переводная с французского, под названием которой красовалась ярко и четко отпечатанная фамилия переводчика, с начальными буквами имени и отчества, выставленными, вероятно, из опасения, чтобы такой колоссальный подвиг не был приписан какому-нибудь однофамильцу. Пьеса была одна из тех, которые в блаженные тридцатые годы, когда еще свирепствовала новая французская литература, под именем неистойвой юной французской словесности, приводили в ужас раздражительную, как *mimosa pudica*,⁵ нравственность наших критиков даже одним своим названием,⁶ действительно нередкою затейливим.

Кроме того, в этой пьесе дебютировала во второй раз, и притом в первой роли, новая артистка.

Она явилась на сцене под именем г-жи Склонской, хотя настоящая фамилия ее была другая.

Эти две причины – новая пьеса и новая артистка, от первого дебюта которой пострадали крайне руки некоторых молодых людей, – эти две причины, вероятно, содействовали к особенному оживлению Александрийского сквера и к видимому благоденствию тощих ванек, впрочем, их только потому, что извозчики-лихачи были большею частью нанимаемы только от дверей Палкина,⁷ куда, для передышки от дальнего пути, заходили офицеры, с различными